

Константин
ВОРОБЬЕВ

*Вот пришел
великан*



Константин Воробьев
Почем в Ракитном радости

«ЭКСМО»

1964

Воробьев К. Д.

Почем в Ракитном радости / К. Д. Воробьев — «Эксмо», 1964

© Воробьев К. Д., 1964

© Эксмо, 1964

Константин Дмитриевич Воробьев

Почем в Ракитном радости

Машину я оставил на улице под липами – они сильно выросли, – а сам зашел под каменный свод ворот и оглядел двор. Все тут было прежним, как двадцать пять лет назад. Справа – красного кирпича стена потребсоюзского склада, слева – пыльная трущобка индивидуальных сараев, а в глубине двора – уборная, помойка и длинная приземистая арка глухих ворот. Там в углу в благословенном полумраке, навеки пропахшем карболкой и крысоединой, я и поймал двадцать пять лет тому назад чьего-то петуха – оранжевого, смиренного и теплого. Я спрятал его под полу зипуна, и всю ночь мы просидели с ним в городском парке недалеко от базара. Через ровные промежутки времени я пересаживал петуха на другое место – то под левую, то под правую мышку, – это было в марте, и каждый раз, повозясь и успокоясь под зипуном, петух порывался запеть. Утром я продал его за шесть рублей. Этого мне вполне хватило, чтобы отправиться дальше, в Москву...

Да, все в этом дворе было мне памятно, все оказалось непреложно сущим, нужным моей жизни. Стоило ли его стыдиться и вычеркивать из памяти? Я не стал долго раздумывать над тем, что скажу незнакомым людям, и вошел в пахучий коридор знакомого серого дома. Жили тут густо. Я насчитал пять дверей направо и шесть налево, и все они были обиты по-разному и разным. Я выбрал дверь под войлоком, – тут должны обитать люди пожилые, – и постучал, прислушиваясь к тому, что выделявало мое сердце: оно билось так же трепетно и гулко, как и тогда, с петухом.

Открыла мне маленькая ладная старушка в белом фартуке и белом платке.

– А он только что уехал на речку, – хлопотливо сказала она. – Нешто вы не встретились?

Она обозналась – в коридоре был сумрак и чад.

– Я не к нему. Я к вам, – сказал я.

– Ах ты господи прости, а я подумала – Виктор...

Женщина кругло поклонилась мне, приглашая, и попятилась в комнату. Я вошел, встал у дверей и стащил берет, – в углу под потолком висела икона, а перед нею на цепочке из канцелярских скрепок покачивалась стограммовая рюмка и в ней, накренясь к иконе, стояла и горела толстая стеариновая свечка.

Икона, цепочка из скрепок и эта наша парафиновая советская свеча подействовали на меня ободряюще, – тут умели ладить со многим и разным, и я сказал:

– В тридцать седьмом году в вашем дворе я... украл петуха. Красный такой... Случайно не знаете, чей он был?

Я только потом понял, что так нельзя было говорить, – можно же напугать человека, но женщина, окинув меня взглядом, спокойно, хотя и не сразу, сказала:

– Да это небось дядин Васин... Дворника. Теперь он померши давно, царство ему небесное... А вы что ж, с нужды али так на что... взяли-то?

Я объяснил.

– А кочеток ничего себе был? Справный?

– По-моему, ничего... Веселый такой, – сказал я.

– Дядин Васин. Один он держал тут... А вы по тем временам прогадали. Четвертной надо было просить, раз уж...

Она замолчала, скорбно глядя на меня, и было непонятно, за что меня осуждали: за то ли, что я продешевил петуха, или же за то, что украл его у дяди Васи.

– Я думал... может, заплатить кому-нибудь... или вообще как-то уладить все, – сказал я.

– Бог знает, что вы буровите! – суеверно прошептала старушка, но лицо ее вдруг стало таким, будто она только что умылась колодезной водой. – Это кто ж от вас примет деньги...

заместо мертвого-то! Да и зачем нужно? Ну взяли когдася кочетка и взяли! Ить небось на пользу вышло? Что ж теперь вспоминать всякое!..

Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Я шел по коридору, а она семенила рядом в своем белом платке и фартуке, беспокойная, раскрасневшаяся, и опасно – как бы нас не услышали – советовала мне шепотом, чтобы я больше никому и не говорил о петухе.

У ворот я встал спиной к липам и произнес горячую, бестолково благодарную речь старушке и всему двору. Я хотел проститься с нею именно здесь: нельзя же, чтобы она увидела мою «Волгу» – новую, роскошно-небесную, черт бы ее взял! Но она, выслушав и приняв все, как свое законное, повлекла меня на улицу и там, не взглянув в сторону лип, сказала:

– Не стыдись. Мы люди свои... Садись и поезжай куда тебе надо!..

Я ехал в Ракитное – большое полустепное село, затонувшее во ржи и сливовых садах. Мне не помнится, чтобы там стояли зимы: я унес оттуда никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущей акации, запах повилики и мяты в чужих садах и огородах. И еще я унес песни. В Ракитном они не пелись, а «кричались». Их кричали гуртом на свадьбах и в хороводах, кричали в одиночку на дворах и в поле. Они были трех сортов – величальные, протяжные и страдательные. Эти выводились парнями и девками под гармошку как караул, но в моей памяти они улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.

Среди них осталась и частушка о козе и старике. Ею дразнили меня ровесники, и больше всех Милочка-лесовичка. Увидит на выгоне километра за полтора и затянет изнурительно тоненьким речитативом:

Ах, дед Кузьма!
Не дери козла!
Дери козочку!
Белоножечку!
Привяжи к кусту...

Дальше шло такое, что уши вяли, но Милочка не выбрасывала слов из песни, а мне тогда исполнилось четырнадцать, и я уже любил эту Милочку, и мое имя было Кузьма. Того запаса мистического проклятия и насмешки, что было заложено в этом ненавистном «Кузьме», хватило мне потом на долгие годы: мои рассказы, рассылаемые во все редакции тонких и толстых журналов, неизменно возвращались назад.

Сейчас на заднем сиденье машины лежат две книги. Их автор я, Константин Останков. Я везу книги в Ракитное, хотя не знаю, как объяснить сельчанам, что Константин – это я, Кузьма. В Ракитное я еду как на суд. Но, может, там и не читали моих книг?... В этом случае я не покажу их там. Я привезу туда – потом, когда напишу – свою третью, единственную, книгу. Она начинается так: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:

– Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»

Это все, что я написал за целую зиму. Тот, что хрюкал, – лежал и не шевелился, а этот, ударивший, стоял над ним и не уходил, и дело не подвигалось, повесть оставалась ненаписанной. Я видел ее – плотно-тугую, тяжело-маленькую, как булыжник, как этот удар, нанесенный неизвестным неизвестному, и сколько бы я ни бился, пробуя изменить начало, рука самостоятельно выводила на листе бумаги: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой...»

Все лучшее в этой моей ненаписанной книге – радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли – пришло ко мне на рассве-

тах, в задумчиво-звучной тишине. Я тогда постоянно удивлялся прошедшему дню, не находя в нем того, с чем хотелось бы жить: правды жестов и искренности поступков тех, с кем я общался. Об этом – прошлом, темном и нелюбимом – и о том, что незримо еще проступало в новом дне: радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли, – я и писал свою новую книгу. Я писал ее в уме легко и споро, пока не садился за стол. Тогда кто-то другой во мне рассеивал обаяние утренних грез, тушил решимость дерзания на подвиг, вводил во вчерашнее, привычное и нелюбимое. Я каменел за столом, потом писал все ту же фразу: «Он ударил его в подскуля...» В восьмом часу из своей комнаты приходил Костик – мой шестилетний сын. Любя в нем все потерянное и ненажитое собой, я называл его дедом Кузьмой, Кузякой, Кузилицем. Он приходил всегда одинаково – одной рукой под-держивая трусы, а другую ладонь вверх протягивал мне. Я поворачивался к нему вместе со стулом и будто невзначай лягал стол правой ногой. Удар каждый раз приходился щиколоткой об острый угол. Щиколотка ныла потом часа три, и на все это время был предлог не подходить к столу, за которым я написал свои книги.

– Ну? Когда теперь получишь?

Сын спрашивал это каждое утро, и каждый раз голос его басел и басел, – Кузилице терял веру в меня.

– Теперь уже скоро, – обещал я.

– А какую? Красненькую?

Вслед за этим наступала минута немного ликования Кузяки. Он пригибался, работая руками у воображаемого руля, и под майкой у него круто выпячивался позвоночник – гибкий и вибрирующий, как пила.

В девять без четверти Костик отправлялся в детсад. На прощанье он говорил мне почти дружески:

– Ну, гляди не свисти! Чтоб получил!..

Речь шла о машине напрокат, – мы второй месяц стояли с Костиком на очереди в автотранспортной конторе. Но где он научился этому «не свисти»? В садике? Во дворе? Я на всякий случай занес «не свисти» в свою записную книжку – емкое слово, но после этого письменный стол показался мне еще враждебнее...

«Волгу» нам дали небесного цвета. Надломленный непомерным для его силенок восторгом, Кузяка два дня не появлялся в садике. Следя за ним и за собой, я окончательно понял, что детство – посох, с которым человек входит в жизнь. Свой – сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы – я потерял вместе с именем «Кузьма»...

На третий день я поехал в Ракитное.

...Все, что я видел и о чем думал, оставив позади город и старушку в белом платке, не годилось для записной книжки, – это не принял бы ни один редактор: день мне казался крашеным яйцом – давним весенним подарком малолетнему сироте. То, настоящее яйцо, было окрашено в золотой цвет луковой шелухой. Меня одарил им тогда на Пасху наш ракитянский дед Мишуня – перед тем я целую неделю стерег его трех овечек. Под бременем той ноши – первый в моей жизни подарок! – я оцепенел сначала от изумления и благодарности, а потом от горя, когда яйцо разбилось. И теперь я узнал, что не все внезапные радости под силу человеку, не каждый подарок можно увезти в «Волге». Старушкина кладь не умещалась ни в моем сердце, ни в машине, она вытесняла меня в необъятную ширь этого апрельского дня, похожего на крашеное яйцо, и я съехал на обочину дороги, отошел от машины и лег в кювете. Надо мной в сторону Ракитного плыло большое облако. Оно было похоже на собаку, и я хотел записать это, но не стал шевелиться.

Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает – и исчезает ли? – из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное

ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки... Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день? Идти почти было невозможно, потому что ветер дул в лицо, а шоссе обледенело и ноги разъезжались в стороны. Вот тут, где стоит «Волга», лежала большая, льдисто сверкавшая свекловина, и ты увидел ее и побежал к ней, а сзади на тебя наезжала высокая бричка на резиновых шинах. Лошади были белые, кованые на передок, – это ты увидел, когда схватил свекловину и сбежал в кювет, на то самое место, где лежишь сейчас и смотришь в небо. В бричке сидел и зачарованно глядел на твои босые ноги Косьянкин. Он узнал тебя, и ты узнал его...

Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первоизданном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там в космосе, как суть и основание жизни...

Я давно слышал нарастающий гул – со стороны города на большой скорости шла тяжелая машина. Она проскочила мимо меня, и я задержал дыхание, пережидая, когда развеется вонь солярки. Я смотрел на облако-собаку, а указательный палец правой руки держал на запястье левой, – в детстве я мог не дышать до пятидесяти ударов сердца. Я слышал скрип тормозов грузовика где-то рядом с «Волгой», слышал ладный, исправный звук захлопнувшейся дверцы и шаркающий топот сапог по асфальту. Кто-то бежал ко мне, а я был всего лишь на двадцать втором ударе.

– Эй! Ты чего?

Я выдохнул воздух и сел. У кювета стоял маленький сердитый и как огонь рыжий паренек в стильной клетчатой рубашке и разбитых кирзовых сапогах.

– Ничего, – сказал я. – А что?

– Да ни хрена! Лежишь как убитый. Нашел тоже место! Я думал, случилось что. Перебрал, что ли?

– Да нет, – сказал я.

– А чего ж?

– Извини, – попросил я.

– Сперва напугал, а потом извини... Ну, пока!

Медведовку – наш райцентр – я увидел издали с горки. Ни за что доброе не цеплялась тут моя память, но я должен был остановить машину, опустить боковое стекло и немного посидеть так, пока сердцу не стало легче от неожиданно радостной встречи со своим детством. Я так и не докопался тогда в себе, почему не хочу попасть в Ракитное днем. Наверное, дело было в машине – сияла она непомерно ярко. Я остановился в Медведовке, решив дождаться вечера. Здесь мало что сохранилось от прежнего. Иссох, превратясь в грязную лужу, большой медведовский пруд, исчезли, словно их сроду не существовало, тополя, заборы и палисадники. На площади не было тюрьмы, коновязи и базарных стеллажей. Теперь на этом месте стояло широкое, со всех сторон оголенное двухэтажное здание райкома партии. Чернозем вокруг него так плотно был утопан, что казался асфальтом.

Я помнил все медведовские вывески – метровые листы красной жести с большими желтыми буквами. Теперь вывески были умеренные, черного стекла, но я долго искал ту, «свою» вывеску, водворенную на крышу низенького деревянного дома. Без нее я не представлял себе редакцию медведовской райгазеты. Мне хотелось найти тот домик, остановиться под окнами и просигналить. Да-да, обязательно погудеть, а потом выйти из машины, поднять капот и будто нечаянно взглянуть на окна редакции, – вдруг там покажется Косьянкин? Ему ни за что не узнать меня, я ведь постарел на двадцать пять лет...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.